

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М33

Оформление переплета и иллюстрация
Виктории Лебедевой

Матвеева, Анна Александровна.

М33 Девять девяностых : [рассказы] / Анна Матвеева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. — 345, [7] с. — (Проза Анны Матвеевой).

ISBN 978-5-17-114491-3

Анна Матвеева — автор романов «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Завидное чувство Веры Стениной» и «Есть!», сборников рассказов «Спрятанные реки», «Подожди, я умру — и приду», «Лолотта и другие парижские истории», «Горожане». Финалист премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер».

Героев этой книги застали врасплох девяностые: трудные, беспутные, дурные. Но для многих они стали «волшебным» временем, когда сбывается то, о чем и не мечталось, чего и представить было нельзя. Здесь для сироты находится богатый тайный усыновитель, молодой парень вместо армии уезжает в Цюрих, обреченной на бездетность женщине судьба все-таки посылает ребенка, а Екатеринбург легко может превратиться в Париж...

Книга «Девять девяностых» получила приз читательского голосования премии «Большая книга» (2 место).

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-114491-3

© Матвеева А.А.
© ООО «Издательство АСТ»

Памяти моего брата Константина

Жемямо

Я родился в самом начале восьмидесятых, в Свердловске, в бараке на улице Гурзуфской. Под окном нашей комнаты висел, как полковой барабан, громадный оцинкованный таз. Выбором времени и места рождения судьба сообщила, что в жизни моей не случится не только особенного успеха, но и простого человеческого счастья, которое принято считать его допустимой заменой.

Сейчас, когда те годы, мои детские времена, уже затянуло романтическим туманом, я вспоминаю моменты совершенной радости, которые приходят даже к одинокому и несчастному ребенку.

Один из них — качели. Они стояли во дворе дома номер семь, по соседству с нашим баракком. Новостройка заняла недавний пустырь и выглядела на фоне скромных пятиэтажек, будто атомный ледокол «Ленин» среди самодельных лодочек.

У седьмого дома был породистый бордово-серый окрас, квартиры хитрой планировки и, предмет главной зависти окружающих, — лоджии. Каждый житель нашего района, где до прихода человека строящего дремали вековые болота, гордился этим домом — его даже удостоили особого имени. Семёра. В те времена было модным упрощать и огрублять даже самые ласковые и красивые названия: наш район звался «Посадом» в честь улицы Посадской, ближайший кинотеатр «Буревестник» местные переименовали в «Бурелом». Семёра существует по сей день — как постаревшая красавица, прикрывает морщинистые стены и тусклые окна нарядами-деревьями. Вот только качелей, любимой моей «березки», больше нет.

Эти качели были выкрашены белым цветом, а поверху, тонкой кисточкой, мастер изобразил трещины в берёсте, черные штрихи, похожие на арифметические знаки равенства. Равенством во дворе притом не пахло — все знали, что качели поставлены здесь не для барачных детей. И мне даже в голову не пришло бы качаться здесь днем или вечером.

Я приходил к «березке» ранним утром, задолго до первого урока. В нашей комнате спали четверо, и я знал, что после моего ухода в комнате появится воздух — ведь тетка Ира постоянно говорила про меня:

— Дышать от него нечем! То спит, то ест!

Ветхий ранец прыгал на спине, как накладной горб, — я бежал к пустой площадке у качелей и напевал вначале тихо, а потом всё громче и громче любимый романс тетки Иры, который она исполняла после первой бутылки:

Сад весь умыт был весен-ни-ми ливнями,
В тем-ных овра-гах стоя-ла вода.
Боже, какими мы бы-ли наив-ны-ми,
Как жемымо-лоды были тогда!

В бараке была приличная акустика, каждый звук падал хрустальной каплей, и не верилось, что тетка Ира, «техничка-алкоголичка», умеет так петь. Мне в этом романсе больше всего нравилось таинственное слово «жемымо». Было в нем что-то особенное, соблазнительное, женственное. Может быть, даже — французское. Я не сразу понял, что «жемымо» — это слуховая обманка, но даже тогда не перестал любить это слово — оно, как пароль, открывало мир, который у меня однажды будет. Я не знал планов судьбы, но, мечтая о будущем, надеялся, что однажды приеду во двор Семёры за рулем роскошной «девятки» цвета «мокрый асфальт». Прижавшись ранцем к спинке качельной сидушки, я отталкивался ногами и взлетал всё выше. Вместе со мною уносились вверх мои мечты.

Вот оно, будущее! Я небрежно кручу руль одной рукой, медленно останавливаясь у подъезда, где живут мои враги-одноклассники Глеб Репин и Виталья Корнеев. Вот они — Репа и Корень будущего — выходят из подъезда, одетые, как бичи из барака. То есть как тетка Ира, ее гражданский муж Василек, мой двоюродный брат Димка и я сам. Не знаю, почему в моих мечтах Репа и Корень менялись с нами одеждой — в раннем утреннем полете над пустынным двором никто не требовал от меня логики и мотивации.

Вот я из будущего неторопливо опускаю тонированное стекло и строго, без улыбки, смотрю на бывших врагов.

Мое лицо в мечтах удивительно походило на лицо дяди Паши Петракова — гангстера по кличке Паштет. Паштет проживал в Семёре, и это был еще один повод для Репы с Корнем, чтобы задирать нос.

Паштет, как большинство свердловских бандитов, был нормальным советским пацаном, родом из спортивной секции. Много кто из них в детстве мечтал стать олимпийцем: быстро бегал, высоко прыгал и метко бил по чужим носам. Но когда на Урал пришли иные времена — точнее, не пришли, а дали с размаху по воротам тренированной ногой... То время перемен упало на пацанов так же внезапно, как ранняя звезда в песне Аллы Пугачевой (еще одна теткина любовь, шла сразу после «жемьмо», но впереди многокуплетных песен, одна из которых мне нравилась больше других — про Сеню, который «с чувством долга удалился»). Страна получила *свободку*. Уралмаш, король заводов, на месте встал, раз-два. А профессиональный спорт сейчас же превратился в детское, несерьезное занятие. Впрочем, привычка тренироваться осталась — в любой тренажерке в те годы стояла очередь к каждому станку.

Цеховики шили варёнки и шапочки-«пидорки» из женских рейтуз, на рынках продавались корейские платья с кружевами-перьями — такого же химического цвета, как корейские соки. В узкую щель между Союзом и Западом падали первые плоды свободы — «марсы», «сникерсы», «баунти» и водка «Стопка». И вот тогда, на пути между ларьками — смыслом жизни эпохи ранних девяностых, и деньгами — смыслом жизни для многих во все времена, встали те парни, имя им легион. Почти весь леги-

он ныне — на кладбищах Екатеринбурга: Широко-реченском, Северном, Лесном... Лег он, легион.

Был среди бандитов, окормлявших пионеров коммерции, и наш дядя Паштет. «Ломал» деньги у коммерческих магазинов — «комков», крышевал рынки, при его участии даже был продан первый в области эшелон меди.

В мечтах я видел у себя героическое лицо Паштета — вот только, чтобы оценить эту героику, надо было смотреть на него обязательно в профиль. Линия лба Паштета переходила прямо в переносицу, не образуя никаких простонародных углов. А нижняя губа выезжала вперед, как ящик в сломанном комодe. Через много лет, когда я увидел портреты Габсбургов в Национальной галерее, то понял, на кого был похож герой моего детства.

Одет он был всегда безупречно — кожаная куртка, норковая шапка, темно-зеленые шароваристые штаны, белые «саламандры» и белые носки. Иных в те годы просто не носили — если у тебя были черные носки, ты как бы признавался в том, что не мняешь и не стираешь их каждый день.

Качели уносили меня всё выше. Милая моя «березка»! В такие минуты я забывал о том, что маму лишили родительских прав за пьянку, а папы я сроду не видел, но знал, что назвали меня по его желанию. Филипп — имя курчавого певца, похожего на пуделя Артемона: в пору моего детства он (певец, не пудель) еще не был так знаменит. Он дождался отрочества, чтобы бабахнуть всей своей славой — как из пулемета Дегтярева — по скромной жизни свердловского мальчика. «Киркорыч» — одно из самых частых моих прозвищ в те годы. И всё же,

летая, я забывал и об этом, и о том, что теткин сожитель Василек каждый день ищет повода дать мне пинка, а после обходится без повода, пинает просто так. Но когда чья-то рука вдруг резко остановила полет, схватив «березку» за металлический поручень, я тут же вспомнил всех своих родственников, сладко спящих в бараке. Вот вам и жемымо.

Передо мной стоял Паштет во всей своей славе. В ногах его терлась собачка, пушистая и желтая, как маленький стог сена. Собачка смотрела на меня и часто, будто для врача, дышала, улыбаясь. Зубки у нее были мелкие и острые, как битое стекло.

— Здорово! — сказал Паштет и протянул мне руку.

Я чуть не обмочился от волнения, по ошибке протянул левую ладонь.

Собачка зевнула.

— Погода-то какая! — с чувством произнес Паштет и обвел рукой вокруг с таким видом, как будто сам сделал с утра эту погоду и теперь готов предъявить ее миру. Я кивнул. Погода Паштету удалась. На ветровом стекле его знаменитой машины — первого в городе «опель-кадетт» — желтели распальцованные рябиновые листья, и две-три алые ягоды лежали между спящими «дворниками», как будто их поместили туда специально. В широком небе нежились крохотные, свежие облака. Птицы передумали улетать на юг и пели громко, как по радио.

— Как жить хорошо! — заметил Паштет и потянулся изо всех сил, так что полы его куртки разошлись, и я увидел турецкий свитер, заправленный в брюки, а главное — пистолет Макарова, небрежно сунутый во внутренний карман.

— Слышь, пацан! — адресно обратился ко мне Паштет, отпिनывая в сторону собачку. Я уже догадался, что собачка, как и я, не имела никакого отношения к Паштету, она всего лишь хотела *иметь* к нему это отношение. И пользовалась случаем засвидетельствовать свое почтение, преданность и остренькие зубки. — Пусти-ка!

Я поспешно слез с «березки», она испуганно тренькнула. Паштет не без труда уместился на еще теплой сидушке, и вот уже белые «саламандры» отталкиваются от земли, и Паштет летит высоко, почти как я. А потом ему надоело поджимать ноги, и тогда он встал, сунул мне пистолет подержать и начал крутить на качелях «солнышко».

Мы всё еще были одни во дворе. Пистолет показался мне тяжелым, как монтировка Василька. Собачка подхалимски смотрела на нас из-под рябины.

Той осенью Паштету было двадцать пять лет.

Не помню, как он слез с качелей и забрал у меня свой «макаров». «Дворники» очнулись, стряхнули со стекла рябиновые листья. Паштет помахал, уезжая.

Никто бы не поверил мне — разве что Димка, старший двоюродный брат. Толстощекий и добрый, он с невероятным трудом учился, словно каторжник, кротко отсиживал в каждом классе по два года. Таблица умножения никак не давалась ему, хотя по программе у них уже второй год была алгебра.

— Мне бы, Фил, восемь классов окончить, — мечтал брат, — и потом в учагу. На токаря.

Добрее, чем Димка, я никого в своей жизни не знал. Тетка Ира — та только пела как ангел, а нрав имела сварливый, да и поколотить могла. С Василь-

ком они бились нещадно, «до кровей», потом буйно мирились, и Димка спешно уводил меня из дому в такие минуты. Мы с ним сидели на веранде детского сада, выстроенного через дорогу от барака, — смотрели на клумбу, где поднимались длинные, как второгодники, мальвы и по собственному почину выросшая крапива, каждый лист которой казался мне похожим на крокодилью голову. Деревянные половицы веранды пружинили под ногами, Димка, сощурившись, добивал подобранные во дворе Семёры бычки и мечтал о будущем. У него тоже были свои надежды, все как одна связанные с романтическим произволом улицы.

— Попасть бы в кенты к Паштету, — мечтал брат. — Я бы для него... да я бы, Фил, всё для него делал. Сказал бы — разобраться с кем, я б разобрался.

— А убить? — замирал я.

Димка тяжело размышлял, щеки, и без того красные, как у зимней птички, имени которой я не знал, становились малиновыми.

— Убил бы.

И тут же сворачивал теме шею:

— Я б тебе, Фил, купил бы целую коробку бананов. И «Баунти — райское наслаждение». А матери — шампунь и колготки. А этому козлу, Васильку, отравленного спирта. Чтобы сдох!

Он был очень добрым, мой брат Димка. И я всегда с удовольствием искал для него недокуренные басыки — во дворе Семёры подбирал чинарики «Конгресса», который предпочитали Паштет и его люди, и коричневые «Море» бандитских подруг.

Мне нравилось радовать брата. Но в тот день, когда Паштет крутил «солнышко» на качелях, я не успел рассказать Димке о своем приключе-

нии — потому что следом меня накрыло еще одно. Словно докатилась вторая волна сентябрьского чуда.

Учительница стояла у доски с таким видом, будто ей не терпится поделиться с нами какой-то важной новостью. Новость она прикрывала от нас своей широкой юбкой.

— Ребята, у нас новенькая! — сообщила наконец учительница и отступила прочь, и за широкой юбкой, словно за открывшимся занавесом, обнаружилась маленькая, но очень красивая, по-особенному ладная девочка.

— Стелла была отличницей в своей школе. И она обязательно будет отличницей у нас, правда, Стелла?

Девочка с каменным именем (а разве оно не каменное? Тяжелое, как надгробие) пожала плечами, словно еще не решив, стоит ли удостоить нас такой радости.

— Подумаешь, — прошипела моя соседка по парте, Вика Белокобыльская, в которую я на днях всерьез собирался влюбиться.

Стелла молча прошла между рядов и села за нами. Я почувствовал себя особенно жалким и дурно одетым: на обувь для меня скидывались чужие родители со всей параллели, а одежду я донашивал за Димкой, и она висела на мне, как «элитный секонд-хенд из лучших европейских бутиков», что повис через пару лет на многих моих знакомых, включая ту самую учительницу.

У Белокобыльской пылали уши — так ей хотелось повернуться и сжечь презрением новенькую. Сразу после звонка, когда Стелла всё так же надменно вышла из класса, выяснилось, что тощие